



Карен Араевич Свасьян –

доктор философских наук, с 1993 года живёт в Швейцарии, где занимается лекторской и издательской деятельностью при Forum für Geisteswissenschaft Zürich, автор многочисленных книг на русском и немецком языках

История тамплиеров

В память об одном опустевшем храме

1

История тамплиеров – история закопанного солнца. Или, если угодно, пушкинского бедного рыцаря, искавшего солнце, а нашедшего золото. Pauperi milites Templi (бедные рыцари Храма) – так они означены в актах собора в Труа 1129 года; позже во Франции в ходу была поговорка: «*Богат, как рыцарь-тамплиер*». Между этими полюсами – падением в небо и падением с неба – растянут их недолгий век; только небо, в которое они упали в начале XII века, было не тем, с которого они спустя без малого два столетия упали в ужас, бесчестье и смерть: это было небо, притягивающее земную тяжесть, небо готики и слышимых молитв, а не та размагниченная пустота, которая постепенно, но неотвратимо заполнялась набирающим темп физико-математическим экспериментом. Нужно только представить себе диковинный выверт фантазии, разыгрывающей в самом начале XIV

века кестлеровское *darkness at noon*: некое пролептическое *déjà vu* московских процессов, перенесенных из Октябрьского зала Дома Союзов в парижский Тампль эпохи Филиппа Красивого. Содрогаешься, читая стенограммы затянувшегося на годы процесса и обнаруживая в них всё ту же технику допросов, пыток и признаний. Но если можно еще с относительной легкостью фиксировать общее между канцлером де Ногаре и прокурором Вышинским (оба искусные легисты, обогатившие судебную практику необыкновенно продуктивными нелепостями), то понадобилась бы особая прочность стиля, чтобы выдержать безвкусицу поставленных рядом имен, скажем, наркома Крестинского и командора Пайена Понсара де Жизи, отрехшихся прямо в зале суда от своих показаний. Пункт, в котором они соприкасаются и даже сродняются, – фактор непредвиденности (какой-нибудь умник-психолог – или просто психолог – сказал бы: «человече-

ский фактор» — не поддающиеся учету реакции, выводящие из строя налаженный механизм истребления). Потому что речь в том и другом случае шла не столько об умерщвлении, сколько о *порче*, что значит: целью было не физическое (акцидентальное) устранение, а погашение сознания — в полном соответствии с теолого-философским каноном эпохи, согласно которому тело существует не само по себе, а лишь в силу своей атрибутивной принадлежности к существующему («non est ens sed entis» Фома), и оттого погубить кого-либо — значит: уничтожить его не телесно, а в самом корне его существования, которое есть *душа*. То, что «душа» не самое подходящее обозначение в нарративе московских процессов, когда палачам противостояли не жертвы, а лишь другие палачи, ничего не меняет по существу; можно же заменить «душу» иными — более нейтральными — обозначениями, как-то: «память», «идентичность», «доброе имя». Решающим во всех смыслах остается масштаб *злободневности*. Если допустить, что начиная с XIV века сила западной мысли обнаруживает неудержимую тягу к номинализму, то, наверное, мы не ошиблись бы, увидев в процессе тамплиеров некий пробный эксперимент будущих политико-номиналистических практик, когда в противостоянии сторон решающим оказывается не онто́с, а номос, не вещь, а названность, что значит: вещи сначала именуются, а потом уже — в пространстве публичности — *уподобляются* своим именам.

2

История тамплиеров не начинается со своим началом и не кончается со своим концом. Конец и начало тамплиеров параллельно уходят в зримое и незримое, скажем так: в оче-

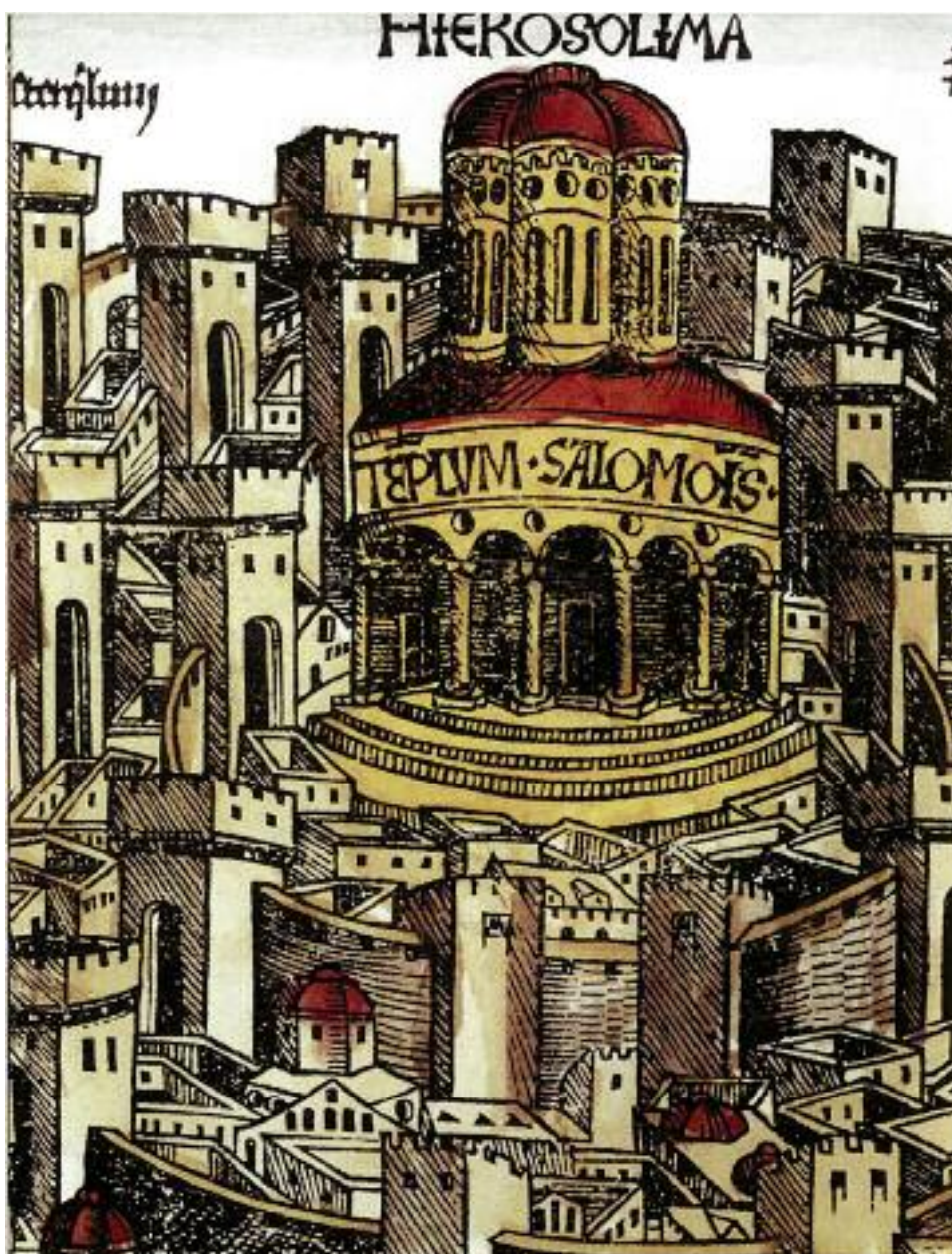


Уильям Оккам. XIV век

Если допустить, что начиная с XIV века сила западной мысли обнаруживает неудержимую тягу к номинализму, то, наверное, мы не ошиблись бы, увидев в процессе тамплиеров некий пробный эксперимент будущих политико-номиналистических практик, когда в противостоянии сторон решающим оказывается не онто́с, а номос, не вещь, а названность, что значит: вещи сначала именуются, а потом уже — в пространстве публичности — *уподобляются* своим именам.

видность зримого и очевидность незримого, соответственно — в остановленные мгновения истории и в целое ее длящейся *одновременности*. И хотя оба плана по сути лишь дополняют друг друга, в представлении большинства они несовместимы, и если и фиксируются вместе, то не иначе, как в режиме взаимоисключаемости. Историк не очень жалуется тайны, держась только за то, что он называет *фактами*. При этом он ограничивает сферу фактического очевидностью зримого — наверное, потому что это удобно и укладывается в его представления о реальности. То, что и тайне есть место в истории, причем именно в модусе *фак-*

тичности, почему-то не приходит ему в голову. Он просто селекционирует факты, выделяя «реальные» и бракуя «таинственные», и заранее убежден в том, что историю Людовика XV можно понять без графа Сен-Жермена, а историю, к примеру, Робеспьера — без Катерины Тео. Лишь в редких случаях снисходит он до «тайны», когда она настолько сращена с очевидным, что не видеть ее можно было бы только глядя на нее в упор. Но и тогда он отделяется от нее, придавая ей статус придаточности, необязательности, экстравагантности, при случае даже пользуясь ею как пряностью, когда пресность и безвкукусность изложения грозят



История тамплиеров и есть роман, необыкновенно интересный и захватывающий роман, читая который невольно приходишь к мысли, что шансы атеизма наверняка приблизились бы к нулю, научись мы не только в Шекспире видеть божественный талант, но и в Боге шекспировский.

атрофией читательского восприятия. Потому что, прими он ее всерьез, ему пришлось бы обязать себя к погружению на такую глубину, при которой голова уже не отличалась бы от головокружения, а навыки учености лопались, как пузыри. Историк предпочитает не погружаться в глубину, а выволакивать ее на поверхность, после чего фак-

ты котируются по жанру анекдотов, а самому ему не остается иного выбора, как — рассказывать истории. В этом смысле юмовская «История Англии» или вольтеровский «Век Людовика XIV» отличаются от, скажем, «Всемирной истории» Роллена по тому же признаку, по которому хороший роман отличается от плохого. Но суть даже не столько в са-

мих фактах, «реальных» или «таинственных» — всё равно, сколько в том, что и реальные факты приводят нас *по продуыванию* к своему двойному дну, в которое проваливается понимание, если мы не отделяем его от пуповины анекдотов. Что же может быть реальнее того факта, что в ночь, когда был арестован Робеспьер, командующий Национальной гвардией генерал Анрио — единственный человек, способный разогнать Конвент и уничтожить заговорщиков, — был просто мертвецки пьян! (Он протрезвел уже на следующий день на эшафоте.) И что помешало бы историку, будь он последователен в своей фактомании, вывести из этого *petit fait curieux* всю последующую историю Франции, от Наполеона до наших дней! И даже сравнить его значимость со значимостью *носа* Клеопатры или *камней в мочевом пузыре* Кромвеля. Какой роскошный анекдот! Бывший мелкий служащий таможни, вынесенный однажды при прочистке одного тысячелетнего засорения с прочим мусором прямо на самый пик событий, *пропил историю Франции*. Конечно, можно и здесь держаться принципа фактичности, ссылаясь на случай и силу обстоятельств, только вероятность того, что из голой статистики и стохастики *фактов* слагаются осмысленные и захватывающие романы, едва ли превышает вероятность складывания букв в «Войну и мир» на пишущей машинке, по клавишам которой (в гипотетических миллионах лет) стучит пьяная или трезвая обезьяна. Нет сомнения, что история свершается в ареале фактического, но очевидно и то, что сами факты никак не сводимы к фактам и *значимы* лишь в той мере, в какой они непрерывно выходят за рамки собственной фактичности, подобно

тому как буквы алфавита, бесконечно комбинируемые в тексте романа, не имеют уже ничего общего с алфавитом, а служат смыслу. История тамплиеров и есть роман, необыкновенно интересный и захватывающий роман, читая который невольно приходишь к мысли, что шансы атеизма наверняка приблизились бы к нулю, научись мы не только в Шекспире видеть божественный талант, но и в Боге шекспировский. Историкам, от Мишле и Генри Чарльза Ли до современных Фавье и Гилмор-Брайсон, остается лишь пересказывать его на разные лады, а нам по-разному толковать и оценивать прочитанное. Вопрос в том, насколько мы, переходя от одного остановленного мгновения к другому, способны видеть, что в них, собственно, *остановлено*.

3

Тайна тамплиеров, их «незримое» — душа-христианка (тертуллиановская «*anima naturaliter christiana*») на сломе времен, когда естественность постепенно переставала быть христианской, а христианство естественным, и душе, соответственно, предстоял выбор: сохранить христианство, потеряв себя, либо оставаться собой, но уже без христианства. Они искали Христа, как импульс и жизнь, в перманентности воскресения, а находили его распятым в Церковь, проповедь и традицию; старая тоска «отступника» Юлиана по Гелиосу, потушенному в христианских катакомбах, искала нового выхода — на этот раз без неузнанности и вражды, и выходом (взрывом) стали крестовые походы: громовой вопль души, ищущей — под предлогом освобождения Гроба Господня — самоосвобождения, потому что не в том, прежнем, Иерусалиме было ей освобождать Гроб Господень, а находить Иеруса-



Воля Тампля — непрерывность Распятия и Воскресения, то, о чем спустя столетия с такой пронзительностью скажет Блез Паскаль: «Вплоть до скончания мира будет длиться агония Иисуса; не пристало всё это время спать».

лим в себе самой; география служила лишь знаком и зеркалом, в котором осиротевшая душа-христианка силилась отряхнуть с себя беспamięтство и вспомнить свое первородство. Оторванное от мистериальных корней, переставшее быть «мистическим фактом» христианство ссыхалось

в моральную инстанцию, конвенцию и праздность седьмого дня; говорили о Боге и дьяволе, пугали Богом и дьяволом, ничего о Боге и дьяволе не зная и не желая знать, в твердой убежденности, что в них можно только верить, потому что вера в Бога (и дьявола) — от Бога, а знание о Боге

Балдуин II жалует место Храма Соломона Гуго Пайенскому и Годфруа де Сент-Омеру. XIII век



Семеро французских рыцарей под водительством Гуго Пайенского и Годфруа де Сент-Омера основали в 1119 году в Иерусалиме орден *fratres Templarii* (братьев-храмовников) на том самом месте, где свершилась Мистерия Голгофы.

(и дьяволе) — от дьявола. Что удивительного, если дьявольскому знанию оставалось лишь дожидаться своего часа, чтобы послать божественную веру ко всем чертям; атеизм Нового времени, от просветительских салонов до университетских кафедр, что бы о нем ни говорили, легитимный наследник христианства; интересно в атеизме не то, что он отрицает Бога, а то, что он *возможен*, и возможен как (гегелевская) хитрость Бога, который, сотворив знание, сотворил и Церковь, после чего (через Церковь) запретил знанию быть знанием о Боге и отдал его на попечение дьяволу, чтобы — при посредничестве дьявола — привести его снова, но уже прошедшее через горнило сомнений, к себе... Конечно же, Тампль, при всех отдельных прозрениях в гнозис

и тайноведение, не был ни жадной знания, ни прорывом в знание; чего они добивались и чему посвящали свою жизнь, лежало в области *веры* и *воли*: веры в Мистерию Голгофы, которую они, не давая ей захлебнуться в чувстве, страстно вбирали в волю, чтобы самим присутствием этой воли тормозить христианский мир и оберегать его от спячки, косности и автоматизма; воля Тампля — непрерывность *Распятия* и *Воскресения*, то, о чем спустя столетия с такой пронзительностью скажет Блез Паскаль: «Вплоть до скончания мира будет длиться агония Иисуса; не пристало всё это время спать». Они и учились — *не спать*, проходя посвящение в христианство в самый момент его начинающейся деформации, конец которой спустя столетия

засвидетельствует Божья Матерь в словах, сказанных ею детям в Ла-Салетт: «Священники стали *клоаками нечистот*». Оттого судьбой и бедой их было то, что, служа Христу, они всё еще служили Церкви, войдя в нее как в тот пустой гроб 33-го года, с освобождения которого началась однажды их история.

4

Можно будет вкратце воспроизвести историю Тампля в наиболее существенных чертах. Семеро французских рыцарей под водительством Гуго Пайенского и Годфруа де Сент-Омера основали в 1119 году в Иерусалиме орден *fratres Templarii* (братьев-храмовников) на том самом месте, где свершилась Мистерия Голгофы. Провозглашенной целью было охранять пилигримов на их пути к Гробу Господню от разбойников. Спустя десять лет на соборе в Труа орден был утвержден, а братья получили устав, составленный для

них св. Бернардом, и право носить белый плащ с красным крестом, а также черно-белое знамя с девизом из 113-го псалма: «Non nobis Domine» («Не нам, Господи»). Абсолютно новым в ордене было слияние прежде отдельных рыцарского сословия и монашества; тамплиер, оставаясь рыцарем, становился монахом, то есть он не уходил в монастырь, а нес его в себе, расширяя его до мира и выполняя в нем свой воинский долг: «Кротче агнцев и свирепее львов», — говорит о них св. Бернард. Этим объясняются донельзя строгие порядки, предваряемые тремя монашескими обетами: послушанием, бедностью и целомудрием. Поступающий в орден просил о дозволении быть слугой и рабом «дома» при полном отречении от личной воли. Он должен был всегда помнить о том, что кровь, текущая в его жилах, принадлежит не ему, а принятому им на себя обету. Также и о том, что нажитое им было не его собственностью, а всего ордена. Если после смерти тамплиера у него обнаруживали золото или серебро, то тело его погребалось в неосвященной земле или, уже задним числом, извлекалось обратно. Целомудрие блюли настолько строго, что запрещали себе даже поцелуй матери. В скором времени слава ордена разнеслась по всему христианскому миру. Благороднейшие рыцари, венценосные особы (даже папа Иннокентий III) искали посвящения в орден, и уже в скором времени Тампл насчитывал, по слухам, от двадцати до тридцати тысяч рыцарей — хронист Мэтью Пэрис говорит о девяти тысячах командорств ордена («habent Templarii in christianitate novem millia maneriorum»), но, похоже, историки склонны сократить это число на порядок. В гораздо большей степени волновало современников

(и историков) другое число: богатство тамплиеров. Назывались баснословные суммы; причем имелись в виду не только деньги, но и земли, города, дороги, замки; за менее чем столетие ими были построены в Европе 80 соборов и множество храмов поменьше. Если учесть к тому же, что они были освобождены от пошлин, податей и налогов всякого рода, что их дома и церкви были наделены правом убежища, а сами они неприкосновенностью, присущей духовным лицам, и подчинялись непосредственно папе, то нетрудно будет догадаться, что рост их силы и славы сопровождался ростом ненависти и вражды к ним, причем решительно со всех сторон. Мирской клир раздражали привилегии этих «светских монахов», пользующихся особой благосклонностью Святого Престола; сохранились многочисленные жалобы братьев на епископов, чинивших им препятствия, и то, что Рим решал тяжбы в пользу ордена, лишь усиливало и углубляло вражду. Ненависть духовенства разделяли короли, которых не могло не раздражать могущество высокочек-рыцарей на службе у папства; то, что Ричард Львиное Сердце, умирая, сказал: «Я оставляю свою алчность монахам-цистерцианцам, роскошь — нищенствующим монахам, а гордыню — тамплиерам», — могло быть и выдумкой, но не выдумкой были слова, сказанные великим магистром ордена английскому королю Генриху III в 1252 году: «Вы будете королем ровно столько времени, сколько Вы будете справедливым»; как не выдумкой же было и то, что король Франции Филипп Красивый в 1305 году просил принять его в орден и что ему было в этом отказано. Очевидно, что они переоценивали свои возможности, как оче-

видно и то, что однажды это должно было их погубить. Не всегда и не все короли могли терпеть возле себя строптивцев и сносить их дерзости, и когда разгневанный Фридрих II Гогенштауфен в 1229 году изгнал (правда, ненадолго) орден из Сицилии, конфисковав его имущество, в этом можно было увидеть лишь первое — пробное — знамение их будущей и уже окончательной судьбы.

5

Проблемы и конфликты были и с папством. Уже Иннокентий III — во всем остальном почитатель и покровитель (он подумывал даже сделать себе из ордена подобие личной гвардии) — в одном письме 1208 года в крайне резких выражениях призывает братьев к порядку в связи с жалобами на бесчинства и гордыню отдельных сановников. Впоследствии доходило даже до прямых столкновений. Так, в 1264 году, после того как Стефан де Сисси, прецептор Апулии, отказался принять участие в крестовом походе против короля Манфреда (сына Фридриха II), папа Урбан IV потребовал от него сложить свои полномочия. Приор ответил, что он возвратит свой чин только тому, от кого получил его, то есть великому магистру, после чего Урбан отлучил его от Церкви, но орден, недовольный тем, что папа намеревался использовать в личных целях войско, набранное для Палестины, заступился за дерзкого брата. Можно гадать, чем бы всё кончилось, если бы не смерть Урбана в том же году и не снятие отлучения новым папой Клементом IV. Оставался университет, третья власть эпохи, но университет лавировал между папой и королем, беря то одну, то другую сторону, и понятно, что в общем раскладе сил «бедным рыцарям» не приходилось рас-

Памятник тамплиерам в Лондоне



Конец тамплиеров начался с молвы: со слухов, однажды пущенных в ход и уже не прекращающихся даже после упразднения ордена. Огонь с самого начала велся на поражение, по трем целям, или трем обетам – послушанию, бедности и целомудрию, после чего послушание оборачивалось гордыней, целомудрие блудом, а бедность сказочной роскошью.

считывать и на поддержку «интеллектуалов». Но удар пришелся ни с той, ни с другой, ни с третьей, а с четвертой, наиболее могущественной, стороны, которая и положила конец ордену задолго до того как за дело взялись дознаватели и судьи. Конец тамплиеров начался с молвы: со слухов, однажды пущенных в ход и уже не прекращающихся даже после упразднения ордена. Что больше всего поражает в этих слухах, так это впечатление некой хорошо организованной и управляемой спонтанности, как если бы уже XIII век опутывала

незримая сеть информационных агентств, поражающих любую цель с любого расстояния; «божественный» Пьетро Аретино, старый похабник и отец-основатель журналистики, дружбы которого искали папы и короли и который пригрозил однажды Микеланджело выставить перед общественностью его «Страшный суд» как порнографию, мог бы воздать должное этим ранним репортерам-колпортерам, сделавшим физическое уничтожение ордена тамплиеров вопросом времени, после того как они уничтожили его морально.

6

Слухи ползли пластами и по модели речевой фигуры *кли-макса*. Началось с гордыни и высокомерия, потом прибавилось предательство и коварство: сделки с неверными, связь с сектой ассасинов, распутство. Поговорка «*Boire comme un templier*» («Пить как тамплиер») встречается еще у Рабле. Кстати, на этой поговорке можно наблюдать, насколько грамотно работали диффаматоры. Только после 1807 года в словаре Французской Академии появляется поправка, что фраза *пить как тамплиер* является искаженным вариантом оригинального: *пить как стеклодел* (*boire comme un temprier*); почти неразличимые акустически *templier* и *temprier* (старый синоним для *verrier* — *стеклодел*) так и просились в каламбур, причем особая изощренность заключалась в том, что даже в случае *стеклодела* пить вовсе не означало пьянствовать, а просто обильно принимать жидкость при выплавке стекла: из-за сильной жары и духоты. От пьянства было рукой подать до блуда, причем и здесь не обошлось без апофтегмы: «*Custodiatis vobis ab osculo Templariorum*» («Остерегайтесь поцелуя тамплиеров»). Огонь с самого начала велся на поражение, по трем целям, или трем обетам – послушанию, бедности и целомудрию, после чего послушание оборачивалось гордыней, целомудрие блудом, а бедность сказочной роскошью. Действовали по принципу *a particulari ad universale* (от частного к общему), то есть от факта отдельных искажений и извращений заключали к правилу; скажем, курсировали слухи, что в том или ином командорстве некоторые рыцари или серванты были уличены в грехах и дурных деяниях; на следующем витке речь шла уже о «*тамплиерах*», не «неко-

торых», а «всех»; прочность порчи была таковой, что в слухах не сомневались даже далекие потомки; надо будет перечитать однажды «Айвенго» Вальтера Скотта с изображенными в нем омерзительными тамплиерами, чтобы понять, что политехнологи Филиппа одурачивали не только толпу, но и избранных, и одурачивали — в долгосрочной перспективе. Даже пронзительнейший де Местр не составил здесь исключения, отделившись от темы небрежным росчерком пера: «Их создал фанатизм, а погубила жадность, вот и всё». Можно, конечно, оставить фанатизм на совести автора «Писем об испанской инквизиции». Но в чем де Местр не промахнулся (хотя и попал в подставную цель), так это в том, что их действительно погубила жадность: не собственная мнимая, а чужая.



лома, зато делавшие это куда проще, скажем, объявляя серебром медные монеты (Филипп I), или повелевая принимать каждое су за ливр (Лю-

вающим образом: он чеканил анжуйские золотые низкой пробы, уменьшая в них удельный вес золота, после чего монеты за год теряли треть своей стоимости; их и прозвали в народе *длинношерстыми овцами* (moutons à la grande laine) и *короткошерстыми овцами* (moutons à la petite laine) как символ стрижки населения, а за инициатором закрепилось прозвище «фальшивомонетчик» (таким — falseggiando la moneta — он увекочечен и у Данте: Рай XIX, 119). Ничего удивительного, если золото ордена мерещилось ему и во сне; когда в марте 1306 года толпа, взбешенная ростом цен, взбунтовалась, он нашел убежище именно в Тампле, которому с этого времени и должен был заплатить огромную сумму (около полу-миллиона ливров). Филипп, по описанию современников, был похож на статую: кра-

7

«Золотом, — писал Колумб Фердинанду и Изабелле после четвертого путешествия, — можно добиться в этом мире чего угодно. Можно даже препроводить душу в рай». Он полагал в эйфорическом помрачении: подкупить Бога. Внук Людовика Святого, король Франции Филипп IV, едва ли рассчитывал на такой лад откупиться от ада, но поправить земные дела — вполне лежало в круге возможного. Металлической (вообще никакой) теории денег тогда еще не было, но были практики металлизма, хоть и не догадывавшиеся покрывать недостаток золота и серебра в казне эмиссией отчеканенного металло-

Удару по ордену предшествовал удар по папству; Филиппу Красивому удалось то, о чем после 1077 года мечтали короли и императоры: реванш за Каноссу. Когда возмущенный его фискальной политикой папа Бонифаций VIII (на иллюстрации) отлучил его от Церкви, он, заручившись поддержкой университета, обвинил римского понтифика в убийствах и дьяволопоклонстве и велел своему министру Ногаре арестовать его, что этот отпрыск катаров и сделал, не отказав себе в удовольствии дать пленнику пощечину.

довик VI), или приравнивая кружочки кожи с вбитыми в них серебряными гвоздями к золотым дукатам (Иоанн II Добрый), или оповещая о том, что монеты достоинством в одно денье стоят три денье (Людовик XI). Филипп Красивый решал проблему на тот же манер, только менее вызы-

сывый, молчаливый и неподвижный; Жан Фавье, автор блестящей книги о нем, называет его первой загадкой в череде загадок его почти тридцатилетнего правления. Трудно догадаться, когда ему впервые пришла в голову мысль об уничтожении ордена, и что, кроме алчности, побудило его

к этой беспрецедентной акции. Несомненно одно: он действовал продуманно, почти что протокольно, во всяком случае без того излишка страстей и несдержанностей, которые с таким подкупающим простодушием оправдывал в средневековых монархах хронист Шатлен («puisque les princes sont hommes», «потому что и государи ведь люди»). Удару по ордену предшествовал удар по папству; Филиппу удалось то, о чем после 1077 года мечтали короли и императоры: реванш за Каноссу. Когда возмущенный его фискальной политикой папа Бонифаций VIII отлучил его от Церкви, он, заручившись поддержкой университета, обвинил римского понтифика в убийствах и дьяволопоклонстве и велел своему министру Ногаре арестовать его, что этот отпрыск катаров и сделал, не отказав себе в удовольствии дать пленнику пощечину. Папа вскоре после этого умер, а на могиле его король велел высечь слова: «Еретик и святопродавец». Наверное, это не было преувеличением; в чем старому греховоднику не повезло, так это в том, что он на два столетия опередил свое время. Нужно представить себе его в промежутке между Базельским и Тридентским соборами, лучше всего на месте Юлия II, о котором Ульрих фон Гуттен сказал, что он взял бы небо штурмом, если бы ему закрыли доступ туда, или Льва X, *il papa Leone*, аплодировавшего комедиям полупорнографического характера, чтобы понять, что на лучший обвинительный материал, чем оригинал, Филиппу нечего было и рассчитывать. Некоторые речения Бонифация в самом деле взяты как бы из ренессансного репертуара: «Таинства — это дурачества» («Sacramenta sunt truffae»). «Плотские грехи вовсе не грехи» («Peccata carnalia non esse

peccata»). «Дева Мария была не большей девственницей, чем моя мать» («Virgo Maria non fuit plus virgo quam mater mea»). «Верю в нее (Марию) не больше, чем в ослицу, а в ее сына не больше, чем в осленка» («Non credo plus in ea (Maria) quam in asina, nec in filio plusquam in pullo asinae»). И уже — немислимый рикошет — вылитый Федор Павлович Карамазов: «Не верю в Марьюшку, Марьюшку, Марьюшку» («Non credo in Mariola, Mariola, Mariola»). Еще он говорил, что предпочел бы, скорее, быть собакой или ослон, чем французом. Трудно сказать, было ли это вызвано самоуверенностью или просто недостатком чувства реальности, но в смертельном конфликте орден ухитрился взять сторону папы и даже ссужать ему значительные суммы (говорили, что деньги шли в том числе и из казны короля, казначеем которого был тамплиер). Наверное, мечта Филиппа о золоте братьев фундаменталась их предательством, и участь ордена была предreshена уже тогда. Так, во всяком случае, выглядит это в очевидности зримого. В оптике незримого ананез простирается куда дальше. Жюлю Мишле принадлежит глубокое слово о рыцарях Тампля. «В них, — говорит Мишле, — крестовые походы стали постоянными и непрерывными». Хотя иные энтузиасты еще и в начале XIV века грезили о новом крестовом походе, их едва ли кто-нибудь принимал всерьез. Своих дел и забот было полно уже и в старой доброй Европе. Историк Фавье довел эту мысль до предела прозрачности: «Тамплер умер, после того как он забыл Иерусалим».

8

Конец ордена производит впечатление юридически и полицейски хорошо спланированной облавы. Аресты нача-

лись ранним утром в пятницу 13 октября 1307 года одновременно по всей Франции. За месяц до этого всем королевским балы и сенешалям были разосланы письма в запечатанных пакетах, вскрыть которые надлежало за день до акции. Филипп действовал осторожно, опасаясь, не без оснований, что в случае огласки могущественный орден мог нанести превентивный удар. За день до ареста, 12 октября, великий магистр Жак де Моле, ставший, между прочим, по просьбе Филиппа крестным отцом одного из престолонаследников, присутствовал при погребении жены Карла де Валуа, брата короля, и даже нес, в двух шагах от короля, балдахин. Конечно, образцы этой техники нередки и в древности; но на память — после навязчивой аналогии с московскими процессами — приходит, скорее, будущее: Сталин, который награждал своих сподвижников орденами за неделю до их ареста и расстрела. Аресты производились по всем командорствам; только в Париже были взяты под стражу 140 членов ордена, среди них Жак де Моле и великий визитатор Франции Гуго де Пейро; сразу после этого в Тамплер прибыл сам король с целой армией нотариусов, которым было велено немедленно конфисковать имущество. Обеспечена была заранее и юридическая сторона, поскольку арест тамплиеров, подчинявшихся с 1139 года только папе, демонстрировал беспрецедентное злоупотребление властью; нужно было создать повод для расследования и представить случившееся в самом объективном виде. Лучше не могло быть придумано и в дурном криминальном бестселлере: в одной тюремной камере вместе с каким-то приговоренным к смерти преступником из Безье оказался некий экс-тамплиер,



которому вдруг вздумалось поведать своему соседу жуткие тайны об ордене, настолько жуткие, что ошеломленный негодай немедленно потребовал встречи с королем, чтобы рассказать ему услышанное и исполнить тем самым свой долг гражданина и христианина. Филипп просчитал и другое. На папском престоле сидел его ставленник Климент V, бывший епископ Бордо, которого он вдобавок ко всему шантажировал намерением начать посмертный судебный процесс над Бонифацием VIII, так благополучно избежавшим его в свое время благодаря своей неожиданной смерти (Ногаре даже требовал эксгумировать тело покойного папы и предать его сожжению). Наверное, случай был все-таки настолько вопиющим, что Климент, будучи и сам узником короля, не скрывал поначалу своего возмущения («бунтом на коленях», *une révolte à genoux*), называет это

Обвинительный список составил 117 пунктов, но главными были три: отречение от Христа, плевок на крест и содомия. Параллельно распространялись слухи об идолопоклонстве. Говорили о какой-то фигуре, установленной в Тампле: то ли бородатой голове, то ли голове с тремя лицами и сверкающими глазами. По другой версии, это был череп. По еще другой, кот. В конце концов, сошлись на Бафомете (*figura Baphometi*), полагая, что так это, наверное, понятнее всего.

Мишле), но Филипп, предпочтя не обострять ситуацию без нужды (как-никак, а происходящее повергло христианский мир в состояние шока), легко успокоил его уступками, годившимися разве что на то, чтобы деморализованный наместник Бога на земле сохранил лицо. Всё кончилось тем, что король уступил папе дело Бонифация, а папа взамен отдал ему тамплиеров. Мишле: «Он отдал живых, чтобы спасти одного мертвеца. Но этим мертвецом было само папство». Дело было передано великому инквизитору Гийому Парижскому, и только слепой не увидел бы, что это означа-

ет; Гийом был не только инквизитором, но и личным духовником короля; таким образом, как инквизитор он обеспечивал правовую сторону, а как духовник — фактическую. Оставалось напоследок еще заручиться поддержкой «народа», что и было сделано сразу после арестов. В королевском саду на острове Сите при огромном скоплении толпы министр Ногаре зачитал письмо короля, обошедшее в скором времени всю Францию: «Горестное известие, прискорбная новость, которую невозможно ни вообразить себе без ужаса, ни без ужаса услышать! Мерзкая по степени коварст-

Король Филипп Красивый отправляет тамплиеров на костер. Начало XV века



ва, заслуживающая презрения по степени низости! <...> Дух, наделенный разумом, испытывает боль и помрачение при виде природы, насильственно изгоняемой за свои пределы, забывающей свое естество, игнорирующей свое достоинство, расточающей себя, уподобляющейся зверям, лишенным чувств, — что я говорю? — превышающей зверство самих зверей». Это уже как бы в кредит будущих передовиц «Правды» и «Известий»: «Болью и гневом полны наши сердца. Чудовищные, нечеловеческие преступления кучки выродков, поганых псов фашизма холодят кровь. <...> Гадину, отравляющую воздух трупным зловонием, надо расстрелять». Конечно, толпа и здесь отнеслась к услышанному «понимающе», так что

Филипп мог бы сказать обо всем словами Сталина, который, когда ему сообщили о каком-то проколе следствия, поморщился и махнул рукой: «Ничего, слопают». Об ордене уже давно ходили недобрые слухи, и что-то такое рано или поздно должно было случиться. Организаторам процесса не пришлось проявлять особую щепетильность при согласовании деталей; главное — всё было готово: обвинения, чтобы быть предъявленными, и обвиняемые, чтобы в них сознаться, ну, а народ был всё тот же, что и тогда — при всенародном референдуме во дворе Кайафы, и на этот народ вполне можно было положиться.

9

Обвинительный список составил 117 пунктов, но главными

были три: отречение от Христа, плевки на крест и содомия. Параллельно распространялись слухи об идолопоклонстве. Говорили о какой-то фигуре, установленной в Тампле: то ли бородатой голове, то ли голове с тремя лицами и сверкающими глазами. По другой версии, это был череп. По еще другой, кот. В конце концов, сошлись на Бафомете (*figura Baphometi*), полагая, что так это, наверное, понятнее всего. Не будь юмор столь чудовищно неподходящим, абсолютно чуждым элементом для всей топики процесса, можно было бы вполне заподозрить в коте-Бафомете анекдот. Сначала при каждом допросе спрашивается, правда ли, что в ордене поклоняются какому-то идолу. Ответ каждый раз гласит: да. Потом выясняется, что большинство братьев его вообще не видели, а те, которые видели, не знают, что именно видели: бородатую голову, череп или кота. Даже руководители ордена — магистр, визитатор, прецепторы — не знают, чему они поклонялись: бородатой голове или коту. Филипп делал всё, чтобы как можно скорее покончить с делом; он и так сильно рисковал, бросая вызов если не своему «карманному» папству, то всему христианскому миру, для которого тамплиеры были не просто могущественным орденом, но живым символом христианства. После того как большинство братьев — некоторые частично, другие полностью — сознались в инкриминируемых им трех пунктах, дело, казалось бы, было завершено. Но тут снова заупрямился папа, уязвленный, скорее всего, грубостью и откровенной насмешливостью королевских действий. Он создал комиссию по расследованию, установившую, что большинство показаний было выбито пытками. Так, Понсар де Жизи, прецептор Пайена, в

четверг 27 ноября 1309 года назвал ложными все обвинения, а также все показания, сказав, что сделаны они были под пытками, от которых только в Париже умерли тридцать шесть братьев. Рыцарь Бернард Дюге, ноги которого долго держали над огнем, даже показал судьям две вывалившиеся из его пяток кости. После этого обвинительный состав начал разваливаться, так что папа имел все основания приостановить процесс и объявить о подготовке нового суда. Ответный шаг Филиппа оказался настолько же неожиданным, насколько философски грамотным. Мы едва ли ошиблись бы, увидев в нем прямой перенос контroversы спора об универсалиях на юридическую практику. Это чистейший *прикладной* номинализм эпохи расцвета школ Парижа и Оксфорда, можно было бы сказать: первая апробация программного *universalia sunt nomina post rem* (общие понятия суть имена после вещей) на государственном уровне. Есть *орден* тамплиеров как метафизическая реальность, и есть *тамплиеры*, конкретные люди. Право суда над *орденом* Филипп, в полном согласии с буллой *Omne Datum Optimum*, оставил за папой. Его самого вполне устраивали тамплиеры как *homines singulares* (частные лица). Таким образом, многомудрый спор об универсалиях оборачивался в юридическом измерении издевательством, потому что метафизически *орден* мог сколько угодно предшествовать своему физическому содержанию; юридически, без этого содержания, он становился просто пустым звуком. По существу, Филипп менял понятие на людей, совершенно точно рассчитав, что гордо реалистическое *ante rem* (до вещей), если юридически оставить его *sine re* (без вещей), просто станет *post rem* (после вещей). Для осуществ-



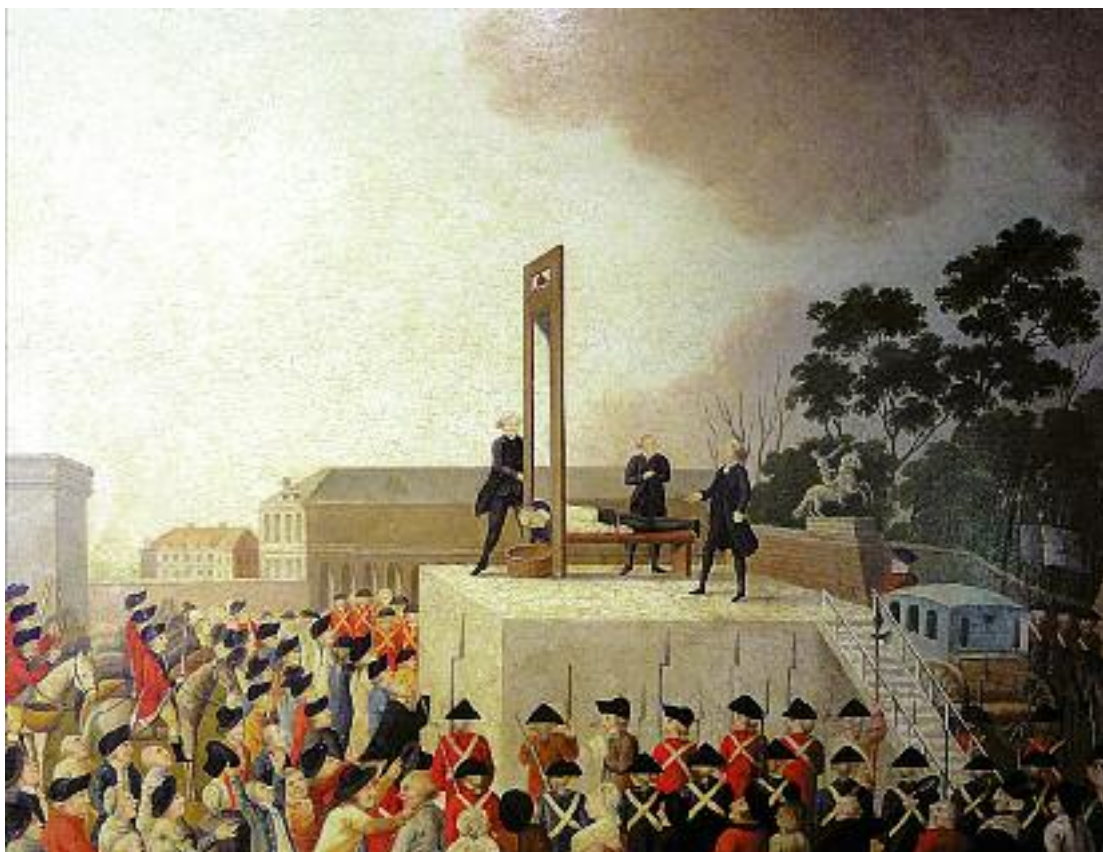
Сожжение Жака де Моле. Начало XV века

Магистр Жак де Моле попросил повернуть его лицом к Собору Богоматери и, уже объятый пламенем, громко призвал папу и короля на Божий суд. То, что Климент V умер спустя месяц (предположительно от рака кишечника), а 46-летний Филипп через восемь месяцев то ли от инсульта, то ли упав с лошади на охоте (по Данте, от удара кабана, *di colpo di cotenna*), положило начало красивой и повторяющейся в веках легенды о проклятии тамплиеров.

ления этой комбинации в Париже 10 мая 1310 года был созван епископальный синод, на котором архиепископ Санса Филипп де Мариньи (брат всемогущего министра финансов Ангерана де Мариньи и, значит, «свой человек») велел парижскому епископу продолжить суд, который теперь уже был вполне легитимным, так как котирировался не как суд над *орденом*, а как суд над *отдельными* братьями. Похоже, анекдотическая выигранность решения в самом деле была обусловлена сменой философских гегемонов; еще за

каких-нибудь несколько десятилетий столь откровенный перенос номиналистической софистики на юридическую практику показался бы невозможным, но после физической пощечины Бонифацию VIII впору было ожидать и метафизических хулиганств. Во всяком случае, одновременность номинализма Оккама или Николая Отрекурского с практикой номинализма в процессе тамплиеров — не просто аналогия, а скорее, гомология (в шпенглеровском смысле), указующая на морфологическое единство контекстов. С

Казнь Людовика XVI



«21 января 1793 года в четверть одиннадцатого утра Людовик Бурбон, XVI именем, родившийся в Версале 23 августа 1754 года, названный дофином 20 декабря 1765 года, король Франции и Наварры 10 мая 1774 года, помазанный и коронованный в Реймсе 11 июня 1776 года, был гильотинирован на Площади Революции. – Вскоре после этого некий человек по имени Ромо – в брошюре, которую сегодня почти невозможно разыскать, – предложил “всем гражданам отмечать в семейном кругу день памяти 21 января, поедая в этот день свиную голову или свиное ухо”».

реалией ордена, ставшей после его физического упразднения пустым *номеном*, могли бы вполне справиться нотариусы и легисты, и, наверное, в Филиппе уже проговаривалось позднее сталинское: «*Нет человека, нет проблемы*»... Обвиняемые были поставлены перед выбором: признать всё и быть выпущенными на свободу или по-прежнему отрицать всё и получить пожизненное заключение. Наиболее тяжким оказывался третий пункт, так называемый *relapsus* (рецидив), когда признавшие раньше свою вину отрекались от своих показа-

ний. Во вторник 12 мая 1310 года 54 таких рецидивиста были сожжены на полях в Сент-Антуанском предместье Парижа. После этой казни сопротивление практически настал конец, но случаю угодно было увенчать конец еще одним проколом. Брат Эмери де Вилье-ле-Дюк в среду 13 мая 1310 года, «бледный и весь истощенный засвидетельствовал под присягой и под страхом гибели души, что все вменяемые ему преступления являются ложными». Он потребовал для себя незамедлительной смерти, в случае если он лжет. Брат Эмери: «И пусть

мое тело и моя душа провалят-ся перед вами на этом месте в ад! <...> Вчера я видел, как в телегах везли на костер пятьдесят четыре моих брата, сознавшихся раньше в этих преступлениях. Но будь и я на их месте, я не вынес бы этого. Я сознался бы во всех приписываемых мне злодеяниях; я сознался бы даже в том, что убил Господа нашего, если бы от меня потребовали этого». Видимость расследований продолжалась еще некоторое время, пока 22 марта 1312 года орден не был упразднен буллой *Vox in excelso* папы Климента V.

10

Судьба и случай позаботились, впрочем, о том, чтобы и это не было еще концом. Последнее слово в деле тамплиеров оставалось за великим магистром ордена. 18 марта 1314 года Жак де Моле и прецептор Нормандии Годфруа де Шарне были казнены в Париже. Их вместе с двумя другими узниками, визитатором Фран-

ции Гуго де Пейро и прецептором Пуату и Аквитании Годфруа де Гонвилем, привезли на суд, чтобы прилюдно огласить им приговор о пожизненном заключении. Трибунал из четырех кардиналов под председательством Филиппа де Мариньи проходил на паперти перед Собором Парижской Богоматери при огромном скоплении народа. Приходится гадать, какие именно мотивы побудили Филиппа устроить этот театр, но то, что ему совершенно отказало чувство *мистической* (или, в иной оптике, *эстетической*) реальности, не подлежит сомнению. В своем самомнении он просто не сподобился учесть элементарное правило жанра, что там, где со сцены сходят два героических столетия, сцену трясет как в лихорадке. Великий магистр взял слово и твердым голосом засвидетельствовал ложность обвинений и невиновность ордена. Вслед за ним то же повторил приор Нормандии. Оба других товарища предпочли хранить молчание и сгинули навсегда в подземельях. Что до клятвоотступников, то, пока кардиналы решали их участь, Филипп созвал совет и велел казнить обоих незамедлительно, без суда и приговора, так что уже вечером того же дня на Камышовом острове Сены между королевским садом и церковью августинских монахов (нынешней набережной Больших августинцев) был сложен костер, один на двоих. Магистр попросил повернуть его лицом к Собору Богоматери и, уже объятый пламенем, громко призвал папу и короля на Божий суд. То, что Климент V умер спустя месяц (предположительно от рака кишечника), а 46-летний Филипп через восемь месяцев то ли от инсульта, то ли упав с лошади на охоте (по Данте, от удара кабана, *di colpo di cotenna*), положило начало красивой и по-

вторяющейся в веках легенды о проклятии тамплиеров. Похоже, великий магистр вызвал на суд Божий не только своих непосредственных палачей, но и саму королевскую власть; во всяком случае, слухи и фантазии здесь настолько сопряжены с фактами, что переход от одного к другому как бы напрашивается сам собой, стирая грань, отделяющую *«поэзию»* от *«правды»*: факт, к примеру, что Людовика XVI везли на казнь именно из башни Тампля; слух, что какой-то человек взобрался на эшафот после его казни и громко крикнул: «Жак де Моле, наконец ты отмщен!» Интереснее всего, что слухи, даже если их нельзя подтвердить прямым образом, не лишены почвы и косвенно подтверждаются другими фактами. Сценка с незнакомцем на эшафоте — слишком груба, именно театрально груба, чтобы заслуживать доверие историков. Но причем тут доверие историков! Наверное, историкам следовало бы время от времени напоминать, что история гораздо сложнее и непредсказуемее их собственных представлений о ней. В конце концов, не история нуждается в их доверии, а они в ее понимании, и считать историей только ее документально заверенную часть, всё равно что считать морем то, что плещется на его поверхности. В то же время чем же названная сценка неправдоподобнее сотен других, достоверных, потому что документированных? Разве не вписывается она вся целиком в тот парижский 1793 год, который (документально ли, анекдотически ли) так вдохновенно и почти уже на грани неразличимости подражал будущему роману Гюго! Но вот, впрочем, еще один, вполне достоверный, факт, через который проклятие великого магистра транспарирует ярче и исчерпывающе, чем через все ок-

культные толки и слухи. Я цитирую по гонкуровской «Истории французского общества в период революции»: «21 января 1793 года в четверть одиннадцатого утра Людовик Бурбон, XVI именем, родившийся в Версале 23 августа 1754 года, названный дофином 20 декабря 1765 года, король Франции и Наварры 10 мая 1774 года, помазанный и коронованный в Реймсе 11 июня 1776 года, был гильотинирован на Площади Революции. — Вскоре после этого некий человек по имени Ромо — в брошюре, которую сегодня почти невозможно разыскать, — предложил “всем гражданам отмечать в семейном кругу день памяти 21 января, поедая в этот день *свиную голову* или *свиное ухо*”».

11

Вопрос, остающийся непроясненным и по сей день: были ли преступления, инкриминируемые тамплиерам, выдуманной или они все-таки соответствовали действительности? На этот вопрос нет прямого и простого ответа: ни просто «да», ни просто «нет»; между «да» и «нет» растянута целая палетка половинчатостей: от частичных, дробимых «да» до частичных, дробимых «нет». Схема «*пытки-признания*» очевидна, но она объясняет не всё; большинство признаний носят выборочный характер, что не совсем вяжется со способом их получения, потому что признания, полученные под пытками, как правило, не селективны, а тотальны: тут можно либо, упершись головой в безумие, всё отрицать (в промежутках между приведением в сознание и очередной потерей его), либо уже без удержу сознаваться *сколько угодно и в чем угодно*. Что при более пристальном чтении протоколов допросов, изданных в свое время Мишле в знаменитом двухтомнике

Тамплиер. XII век



Конец тамплиеров – в более глубинной, незримой оптике очевидного – видится концом эпохи: эпохи героического христианства, начало которой совпадает с началом самого христианства и представлено фигурой праведника, гностика и мученика. Это христианство началось с мученичества и завершилось мученичеством; братьям-храмовникам выпала в этом смысле милость, хотя и в странной форме: принять муку и смерть не от неверных, а от «своих», тех самых своих, что хуже всяких неверных, – христиан, которых в христианстве устраивало решительно всё, кроме Христа.

«Процесс тамплиеров» и переизданных в наше время Жаном Фавье обращает на себя внимание, так это, среди прочего, странный, на грани невменяемого тон, которым делаются признания; впечатление таково, что они *говорят правду*, но не всю, и делают это, как бы не совсем соображая, о чем речь. Как же иначе понять, что на сотнях протокольных страниц сотни раз повторяется одно и то же: «*Да, я кощунствовал, но делал это устами, а не сердцем*», – без того чтобы судьи, да и сами признающиеся, задали вопрос: а зачем? Зачем вообще было принуждать себя и других к кощунству, зная, что оно фиктивное, притворное? За-

чем стремиться быть принятым в орден, где принуждают к такому нелепому кощунству? Факт, что в ритуалах принятия в орден действительно присутствовали элементы, на которых позже строилось обвинение. Они в самом деле отрекались от Христа, хотя и в довольно странной форме: «От Тебя, кто Бог, отрекаюсь», – и даже (некоторые, впрочем, решительно отказывались делать это) плевали на крест, хотя сразу после этого с благоговением целовали его. Очевидно, это объясняется перениманием определенных оккультных практик, которыми кишмя кишел Восток и которые после крестовых походов

стали нередки и на Западе. В данном случае речь могла бы идти о символически инсценируемой ступени, известной в мистериях посвящения под техническим наименованием «*встреча со стражем порога*»; посвящаемый переживал здесь в ужасных объективированных образах собственное под-сознание как темную негативную изнанку светлых сознательных представлений. Рудольф Штейнер в дорнахской лекции от 25 сентября 1916 года необыкновенно остро вскрыл загадку самооговоров тамплиеров указанием на *факт* их христианского посвящения. Особенностью этого посвящения была неизбежность встречи со злом, переживания зла *в себе*. Ревностный служитель добра и подвижник обнаруживал вдруг в себе никогда прежде даже не предполагаемую восприимчивость к дьявольскому и сатанинскому. Он начинал жить как бы в раздвоенном сознании, нижний – подсознательный – полюс которого активировался тем сильнее, чем сильнее утвер-

ждал себя верхний, светлый, полюс. Посвящаемый ощущал вдруг в себе с трудом удерживаемую тягу к кощунству, искушениям и соблазнам. Парадоксальность переживания заключалась в том, что без этой тяги он оставался бы ущербным потенциально (плоское дневное сознание без ночной изнанки), а с ней рисковал стать таковым на деле. Нужно было научиться осознавать в себе *способность, склонность* ко злу и не делать зла. Как раз на этом зыбком, обваливающемся, как бы луна-тически повисшем над собой психическом состоянии и построил Филипп технику добывания признаний, причем так, *чтобы они не только выглядели, но и были — для непосвященных — правдой*. Признания достигались не пытками; пытки просто отключали сознание, после чего точными, точечными вопросами реактивировалось подсознание, в котором жили богохульство и порок. Вопросы ставились по уже заранее предрешенным и *нужным* ответам, которые извлекались затем из подсознательного, занявшего место отключенного пытками сознания. Скажем, подследственному задавался вопрос: отрицал ли он просфору, или: избегал ли он произносить литургические формулы, или: плевал ли он на крест, а он признавался в этом, как в *правде*, но такой, которая, будучи *правдой*, вместе была и *неправдой*. (Некоторые вопросы, типа: предавался ли он содомии, решительно отклонялись, потому что в этом пункте, надо полагать, вакуум сознания просто *ничем* не заполнялся.) Надо представить себе *художника*, у которого конфискуют черновики, отдельные наброски, зарисовки, *сырье* и выдают затем это «парки бабье лепетанье» за само произведение. Или еще: надо представить себе человека, которого фотографируют в

момент, когда ему защемило палец дверью, и вклеивают потом эту фотографию в удостоверение личности как удостоверяющую личность. Нет сомнения, что тут работали профессионалы, и весь трюк сводился, по существу, к перевертыванию потенциалиса в индикатив, в котором данные сознания погашались с помощью пыток, а на их место двигались сослагательности подсознания, тем более чудовищные, что *сфотографированные* в момент посвятельного расширения сознания в ад. Когда позже они приходили в себя и задним числом пытались объяснить случившееся, не всем удавалось осознать уровень и качество порчи, а тем, которым удавалось, приходилось либо смиряться с собственной участью, либо отрекаться от своих показаний и впадать в *рецидив* (relapsus), то есть выбирать между жалкой милостыней пожизненного заключения в жизнь и смертью на костре.

12

Конец тамплиеров — в более глубокой, незримой оптике очевидного — видится концом эпохи: эпохи *героического христианства*, начало которой совпадает с началом самого христианства и представлено фигурой *праведника, гностика и мученика*. Это христианство началось с мученичества и завершилось мученичеством; братьям-храмовникам выпала в этом смысле милость, хотя и в странной форме: принять муку и смерть не от неверных, а от «*своих*», тех самых своих, что хуже всяких неверных, — христиан, которых в христианстве устраивало решительно всё, кроме Христа: не того Христа, о ком добрый деревенский священник сказал однажды, увидев растроганную его проповедью до слез паству: «Не плачьте, дети мои! Всё это

было так давно, и, кто знает, может, и не было вовсе», — а Христа живого и сиюминутного, воскресшего не в ярмарку богословских тщеславий, а в ежесекундность созерцающего сознания. Просто в новом, подчеркнуто *негероическом, немученическом, неправедном* христианстве не было уже места *вере, вбираемой в волю*, а был лишь нелепый сплав веры без воли, безвольной веры, и воли без веры, неверной воли. Оттого они и исчезли — как вчерашний день и анахронизм, — а с ними и целый мир: мир *рыцарства* и *монашества*, ярости и смирения, как зримой Божьей воли. Любопытный рикошет: грехи и преступления, приписываемые им, оказались на деле грехами и преступлениями тех, которые пришли после них и на их место: рыцарей, в которых от рыцарства остались разве что доспехи, и монахов, по которым впору было составлять компендиумы половых извращенностей. Наверное, они и были последними рыцарями и вместе последними монахами христианства: крестоносцами, которым довелось-таки действительно нести свой крест: не потому, что некий злой и алчный король, подмяв под себя Рим и мир, хотел завладеть их золотом, а просто потому, что вышло их время и не стало им места в мире, отчего они и ушли, не как всхлип, а как взрыв, и еще: как проклятие — но не в обычном фольклорно-магическом, а в более страшном, *реальном*, смысле: проклятие тем, которые, выжив их со света, остались сами и надолго, — не потому, что им самим было время и место в мире, а просто потому, что есть же в комбинациях мировых судеб и такая одна, по которой можно быть мертвым, ничего об этом не зная, и по незнанию продолжать как ни в чем не бывало жить. ☞